



ЕДИНСТВЕННЫЙ ВСЕЧЕЛОВЕЧИЙ

Кончается декабрь тысяча девятьсот девяносто... — остановлюсь: тут нет нужды в уточнении года. Все, что рассказывается ниже, могло бы сказаться в любом из прожитых декаблей. Суть в том, что близится Новогодняя ночь, а заблаговременно приходят по-детски нарядные открытки — поздравления с Рождеством Христовым.

Нет-нет, я не сетую. Напротив, напротив: это великая историческая дата — день рождения удивительнейшего из людей! Настолько удивительного, что воображение знававших его современников распознало в нем сына Бога. И не верить в историческую реальность этой необычайной личности — все равно, что добровольно поставить на кон и проиграть неразменный золотой — тот, что каждому завещан материнскими сказками, и не тает, сколько его ни трать.

Нет-нет, ловлю себя на скопидомстве: неразменное храню. И все чаще убеждаюсь, что легче легкого кентаврического сочетания абсолютного атеизма с душевной благодарностью к Истории за рождение необыкновенного мальчика в зимнем Вифлееме нулевого или первого года нашей эры.

О метафорической звезде, возвестившей его появление на свет, странно написано в замечательной "Рождественской звезде" Бориса Пастернака, под псевдонимом доктора Живаго:

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога...

Если так, то где же она пламенела? Наверное, надо или можно это понять бесхитропно-прозаически: пламенела она посреди земной человеческой обыденности. Оттого-то — в стороне от неба и Бога. Но оттого-то и вблизи от людских сердец. А может, и просто в глубинах сердец — тех, кто жадно поверил тогда в Его рождение.

Естественно и оправданно: день той ночи и ночь того дня стали ежегодным праздником для всех, в ком запламенела христианская вера.

А для тех, в ком не запламенела, возник ли праздник? И возник ли он для всех, кто остался приверженным к прежней тысячелетней ветхозаветной — вере отцов и праотцев? И разве мог он оказаться праздником для тех, кому через шесть веков после Вифлеема и Голгофы понадобился другой вероучитель — Мухаммед — и пророк другого Бога на землях того же Средиземноморья? А разве...

В этом духе можно с однообразным красноречием пройти по всем широтам и долготам нашей планеты и всюду встретить искренне верующих в своих богов — не-христиан, для которых Рождество Христово — чужая и ненужная весть. Для фанатиков — еще и враждебная. Но довольно, что ненужная и чужая, дабы не полагать ее праздничной.

А к слову сказать — отчего это у меня, неверующего ни в бога, ни в черта, затеялась в нынешних декабрьских сумерках такая запись? Да представьте, нечаянно, но неспроста. Утром сегодня услышал по телефону старческий голос приятеля школьных времен:

— Надеюсь, хоть ты-то, в отличие от них, не забыл, что я уже полвека истинно правоверный мусульманин, а не православный иудей или что-нибудь смешное в этом роде.

Неважно "в отличие от кого", но я и вправду этого не забыл. А не забыл оттого, что не стареет моя непонятливость: как "это" могло совершиться с выходцем из вполне безбожной семьи бухарских татар, высокоученым геологом мирового класса? Зачем ему понадобилась вера?! И даже точнее — правове-

рие, то есть церковность?! А ведь со всей несомненностью — понадобилось. Понадобилась.

Делаю эту запись, пока остывает телефонная трубка от долгого разговора. Между прочим, я не решился спросить — а какую дату почитает мусульманский мир днем рождения Мухаммеда? Иначе — когда в исламе празднуется Рождество Магометово? Устыдился, что, оказывается, не знаю этого, и потому не спросил. Да ведь никогда и не слышал о таком празднике, хотя в долгой моей бусурманской жизни был многолетний роман с "прекрасноокой Зулейкой" — Зарэ Макаевой. Отчего же не слышал? Может быть, такого праздника вовсе и нет?

Достаю на полке словарь "Ислам" и в статье "Раджаб" набредаю на нужные строки:

"Седьмой месяц мусульманского лунного календаря. Существовало мнение, что в месяц Раджаб Мухаммед был зачат или рожден и получил первое откровение. В этом месяце отмечались также дни рождения Ибрахима (Авраама), Исы (Иисуса) и еще много памятных дат".

"Существовало мнение!" — поразительные слова: для узаконения праздника явно непригодные. И сверх того, Раджаб (или Реджаб) — месяц летний, а в Евангелиях Рождество — событие зимнее. Стало быть, по христианскому преданию и по мусульманскому сын Божий явился на свет в разное время. Общего праздника возникнуть не могло! Оттого-то тут уместно говорится не о праздничных днях рождений, а о "памятных датах".

Подхватываю это скромно-точное определение! В самом деле — не стоит путать праздники с памяtnыми датами: у дат есть свойство историчности — оттого они и памятные, но ход истории всегда для одних оборачивается благом, для других — бедой, а для третьих бывал безразличным — ну, как рождение Иисуса или Магомета, скажем, для индейцев Америки. Даже 9 мая — великий День Победы и окончания Второй мировой войны — вовсе не праздник, а день утрат и горя для миллионов "по обе стороны фронта".

И потому, — добираюсь я, наконец, до простенького смысла этой предновогодней записи — и потому всечеловеческими могут быть только внеисторические праздники — по любому календарю. И среди этих внеисторических — понятнейший для всех без исключения: праздник Нового Года.

Прокатилась Земля вокруг Солнца еще один раз — спасибо Природе!

И поехали по новой, милые современники! Вот и все.

(Прочитаю это, между прочим, своему давнему школьному приятелю, — внезапно мусульманину, — когда 1 января буду поздравлять его. Надеюсь, он согласится, что Новый год — самый Большой Байрам).

Из печалей на полях еженедельника

Май 77-го. Дубулаты. Писательский дом. Одолеваемый приступом депрессии, Борис Слуцкий не выходит из своего номера на шестом этаже. К счастью, стоят холодные дни: балконная дверь и огромное провоцирующее окно надежно закрыты. Мы с Виталием Семиным идем навестить беднягу. Внимательный наблюдатель жизни, многого хлебнувший на своем веку, Виталий хочет достоверно почувствовать серьезность психического недомогания Бориса. Надо придумать испытание. Виталий говорит: "У физиков, если не ошибаюсь, это называется экспериментум круцис".

Моему давнему приятельству со Слуцким почти уже сорок лет. Мы "на ты", а Виталий еще "на вы". И начать задуманный разговор-испытание должен я. Черт возьми, никогда не думал, что хоть на минуту приму на себя роль психоврача (не решаюсь сказать — "психиатра" или "психотерапевта"). Не знаю, как начинать — какой вопрос следующий, после первого, естественного: "Как ты себя чувствуешь?" А может, именно этого — самого простого — спрашивать как раз не надо?

Боря сидел не за столом, а у стола. Тепло одетый, но в одних носках. Точно собирался на прогулку, да вдруг раздумал. Встретил нас без досады и без приветливости. Устался на обоих как бы одним взглядом на двоих. Разговор не вязался. Он отмалчивался, не отводя глаз. Никакого испытания — "ре-

шающего эксперимента" — не получалось. Но внезапно пришло в голову то, о чем мы с Семиным не успевали сказать. Я сказал:

— Ты знаешь, мне сегодня приснился живой Сталин. И, еще недопроснувшись, я подумал, надо же, чтобы он немедленно умер! Пони-маешь — немедленно!

— Что немедленно? — как-то безвопросно спросил Борис.

— Умер! — повторил я. Да притом напористо.

— Когда? — снова вопрос был какой-то безвопросный.

— Немедленно! — снова повторил я напористо.

И тут мы услышали нечто совершенно антистуское — невозможное: "Мне все равно".

Экспериментум круцис состоялся. Уже в лифте Виталий подавленно сказал: "Да-а, дело действительно плохо. Совсем плохо".

Депрессия прикончила Бориса через девять лет.

Десять поводов для улыбки

...Детская сказочка: "Баба Яга и дедушка Яго".

...Сочинение о пауках: "Хождение по мухам".

...Современный роман: "По ком звонит телефон".

...Описка в диктанте отличника: "Антигона — Ястребиный Коготь".

...Сетование астронома: "Вот уже и галактики стали разбегаться!"

...Ненаписанная статья: "Произведение искусства про изведение искусства".

...Подсказка из Маяковского — Хазанову кулинарных времен: "Давай, судак, взорлим!"

...Словонаходчивость Герцена — "неудобозабываемый!" Это он о Николае I. А сказать-ся это должно было двумя тысячелетиями раньше — о Герострате, после сожжения храма Дианы. Известно: о нем помнили, потому что кричали: "Забывайте Герострата!" Но на самом деле масштаб злодеяния сделал его неудобозабываемым. Понадобилось больше двадцати веков, чтобы нашлось нужное слово!

...Виктор Шкловский по телефону — устал: "Не любопытствуйте, как мне работается. Что я могу сказать? Знаете, Марка Твена кто-то спросил, как пишется романы. Он ответил: "Сидя, друг мой, сидя".

...Разве не смешно: наши национал-патриоты ведут себя в собственной стране, как угнетаемое нацменьшинство. Это от неуверенности в своей праведности. Удивительно, но бывлые коммунисты подают им милостыню.

"Удар в животе — ножом снизу!"

Две осени подряд — в 63-м и 64-м — мне посчастливилось лечить язву в Карловых Варах. Оттого что подряд, уже не различить в календарной глухомани прожитого, какой из сезонов отмечен появлением в курзале Арама Хачатуряна. Он был представителем и

яркой, но в армяно-иудейских его глазах тускло светилось изнутри постоянное беспокойство. Может быть, его помучивали боли? Он не жаловался, хотя о язвенных своих делах разговаривал охотно. Запомнилось навсегда:

— Хотите, расскажу, как случилось у меня первое кровотечение? Тогда вы не будете мальчишески гадать, было ли оно у вас, или не было. Это слишком серьезная вещь!

И он рассказал нечто историко-фантастическое, а вместе — абсолютно достоверное. Но не буду реставрировать его напрямую речь — пересказ добросовестней. Он говорил об изуверски-знаменитом вызове композиторов "наверх" — в 48-м году.

Встреча была немногочисленной. Ее вел Маленков. Речь держал Жданов. В злобеще-насмешливом стиле. За столом композиторы сидели вперемежку с вождями. Напротив себя — по ту сторону стола — Арам Ильич видел Сергея Сергеевича Прокофьева и Лаврентия Павловича Берiou. Жданов только-только отговорил, как Берия повернулся к Прокофьеву, и через стол донеслось: "зачем же вы такую музыку длааете? А?" Прокофьев тотчас обернулся на голос, и оттого, как он выглядел при этом, Хачатурян, по его словам, на мгновение оцепенел. И сразу же — без паузы — услышал довольно громкий возглас Сергея Сергеевича, брошенный прямо в лицо усмехнувшегося Берии:

— Почему вы позволяете себе обращаться ко мне, в то время как мы даже незнакомы?! И вот тут-то, сказал Арам Ильич, "я почувствовал в животе удар ножом снизу!" К счастью, начался перерыв.

Скорая отвезла его в Кремлевку. "Были у меня еще два кровотечения из язвы, но не столь интересные", — добавил он с улыбкой, однако — тревожной.

Здесь бы мне и остановиться — счесть этот квант памяти сполна излученным. Но природа запрещает излучить половину или там сотую кванта — этот "атом энергии", по определению, неделим. А потом была еще осень 68-го и встреча с Арамом Ильичом не в Карловых Варах, а в Москве, и не в тихом курзале под просторным небом, а в шумном фойе полуподвального Клуба композиторов на Тверской.

Шел вечер молодых авангардистов, модернистов, левых — не помню уж, какой термин действительно звучал. Играли Шнитке, Любимова, кого-то еще. Мой старый приятель — умеренно молодой и достаточно левый Володя Рубин — пригласил меня на тот вечер, кроме всего прочего, "ради утешения".

Он знал, что после нашего предательского вторжения в Прагу я, как многие, ходил сам не свой. А у меня еще был особый мотив для совершенно эгоистического переживания ближайших последствий той беды: во всем мире "люди доброй воли", как говаривалось когда-то, негодовали, но мне предстояло вдобавок месяц работать в Копенгагене над архивом Нильса Бора, и я тянул с отъездом, покада допускала виза. Знал, что чем позже приеду, тем мягче станет для меня неизбежная участь козла отпущения за чужие грехи государства.

И Володя Рубин был из разряда наших не-



Продолжение записок "Строго как поало", опубликованных в №№ 31, 49, 1997.



годующих. Да и не могу припомнить никого из близких, кто был бы настроен иначе. И в тесном офисе композиторского Клуба кучками толпились, казалось, только единомышленники: отовсюду доносилось приглушенное — в треть голоса — что-нибудь сочувственное о "пражской весне". И надо же мне было в антракте столкнуться с Арамом Ильичом!

Дружеские улыбки. Ритуальное: "как ваша язва?" и встречное — "а ваша?" Безответные вопросы, как "хау ар ю?" А потом зло-сердитое: "Теперь уж в Карловы Вары не поедешь!" Это — он. И я — в том же ключе: "Да, теперь стыдно там показаться!" И к чести его чуткости — он понял первым, что мы одинаково производим противоположное.

Мне дано было взглядом почувствовать, что если я — лейтенант, то он — генерал-лейтенант. Однако остановлюсь на этом. Пусть квант, вопреки законам физики, останется пока недоизлученным.

Гениальная трава Ван-Гога

Май 45-го. Счастливая Прага без немцев. Денно и ночью город высыпает на площади и кочует по собственным улицам, точно впервые открывает их дали. Как нас любили! Да-да, советских, краснозвездных, и никаких других! Нас зазывали на чай, на сливовицу, на "просто так". И, клянусь, едва ли не каждый из нас, достойных и недостойных, мог тогда обзавестись гаремом. Но я сейчас не о том.

На широком тротуаре возле театра, в солнечный полдень, нам с улыбкой преградил дорогу высокий юноша в штатском. Вероятно, оттого, что один из нас, капитан, был в очках, а другой, старший лейтенант, кабинетно сутулился, и оба мы громко говорили о театральной афише, юноша представился без предисловий на безупречном русском:

— Товарищи, тьфу, черт, господи, нет, товарищи артиллеристы, простите, я — внук академика Вернадского, — он волновался и назвал себя на чешский лад, кажется, "Иржи".

Тотчас убедившись, что имя его деда — не пустой звук для двух офицеров-москвичей, он стал жадно упрашивать нас пойти с ним в гости. Но не к нему, а — "тут недалеко!" — к старенькому старичку-эмигранту, художнику Зеленскому — "он будет счастлив!" По баночке португальских сардин (трофеи) и пачке американских галет (аттестат) было в наших полевых сумках, и ничего алкогольного. Внук Вернадского воскликнул, что это и хорошо, ибо старику пить нельзя (помню, тогда показался убедительным аргумент — "ему за семьдесят!"). А суть в том, что старик из дома уже никогда не выходит, но, говорит: ему не жить, если он не увидит у себя россиян-офицеров и не поговорит с ними хоть полчасика по-русски, да хорошо бы — по-московски!

Была кошачья лестница. Третий или четвертый этаж. Крохотная квартирка под крышей — со скошенным потолком мансарды. Хозяин-гном, да еще согбенный: природа не расщедрилась и жизнь не удружила. Однако был словоохотлив и весел. И непонятно, как перемещался среди чердачного навала отслуживших свое вещей. Иржи (квази-Юра Вернадский) бурно пересказывал старику все, что успел услышать от нас по дороге. Мы были его добычей. И редко мне выпадало в военные годы чувствовать себя таким ценным, как в те минуты! Потом говорил старик. Не умолкая. Не слушая наши ответы на свои вопросы. Да ему на самом деле ничего и не нужно было от нас, кроме нашего присутствия и наших ушей для его ностальгии. А

когда мы по очереди сказали, что нам, пожалуй, пора, он стал ковылять среди коробок, этажерок, разбросанных диванных подушек, обещая кое-что найти, дабы нас позабавить, но только бы не отпустить. И вот, ради того, что он нашел, делаю я сейчас эту запись.

Была раскрыта перед нами толстая папка печатных курьезов и глупостей на тему "Россия" — за четверть века! Вырезки из чешских и немецких газет. Вырванные журнальные странички. Старик наслаждался идиотизмами. Вскликивал от смеха, переводя их с чешского, а немецкие оставлял без перевода — на наше собственное понимание. И мы делали вид, что все понимаем. Он норовил поскорее переворачивать политические карикатуры с узнаваемыми лицами наших вождей — Сталина чаще других. Даже в беглом промельке перед глазами те карикатуры поразили грубостью. И старик сознавал, что, наверное, негоже показывать освободителям такие оскорбительные непотребства про их руководителей. Ну, как негоже было Хаму лицемерить наготу своего опьяневшего отца. И, черт возьми, мы ведь тоже сознавали, что негоже. И не осмеливались остановить стариковскую руку: "погодите, не переворачивайте, дайте взглянуть!" Но ведь была же разница между этими двумя "негоже"? Была, была! Историческая — эпохальная.

В его "негоже" старика-эмигранта сквозил простодушный такт. В нашем "негоже" молодых победителей сквозил рабский страх. И неспроста же, когда мы прощались со стариком, один из нас мягко посоветовал не раскрывать эту папку перед всяким встречным-поперечным освободителем, а второй подержал этот совет: "да-да, знаете, от греха подальше". И юный квази-Юра сделал значительное лицо — думаю, на всякий случай, чтобы показать единение с нами. А старый художник? Он сразу стал завязывать тесемки на папке. Видно, жизнь приучила его к немедленному послушанию в действиях, как нас — к немедленному послушанию в словах.

Однако я еще недосказал того, что хотел. Политические карикатуры были вовсе не главным в заветной папке. Из коллекции курьезов, безгрешно нас насмешивших, три тотчас запомнившихся я в тот же вечер привел в письмо домой. Потому они и сейчас сидят в голове.

Была целая страница в "Прагер Цайтунг", посвященная зимой 37-го столетней годовщине смерти Пушкина. В немецком переводе вступления к "Руслану и Людмиле" старик густо подчеркнул цветным карандашом первую строку. И по заслугам: "У лукоморья дуб зеленый" звучало на языке Гете, как "Бай Цвибельмеер грюне Айхе". Стало быть, "лукоморье" понято было, как "луковое море".

А в переводе "Телеги жизни" все пушкинские матерные непристойности были набраны латинским курсивом, но в девственном русском звучании. И выглядели вполне добропорядочно.

Третий курьез старик засек цветным карандашом в чешском переводе Маяковского. Уже не сумею сказать, как это писалось по-чешски, но строка — "Слушайте, товарищи потомки" в обратном переводе на русский означала бы — "Слушайте, товарищи племянники!"

Осчастливленный нашими взрывами смеха, старик взял с нас слово, что мы заглянем к нему еще раз, когда будем в Праге наездом из Добржиша (где квартировала наша артиллерия). Я давал слово тем охотней, что старик радостно разрешил сфотографировать у

него стену, плотно увешанную живописью. Она напоминала страницу альбома марок. И как это бывает у филателистов, искала среди пестрого многоцветья самым неприглядным однотонным квадратиком тусклой, но бесценной марки. Об этой бесценности можно было догадаться только по несурзано широкой золоченой раме, окружавшей плотно, величиною... величиною... ну с половину офицерской планшетки или треть оконной форточки. Словом, было это странное создание живописи воплощением непритязательности: зеленый квадратик травы — кусочек дерна, и все! Однако, что-то мгновенно на стене изменилось, когда старик Зеленский сказал:

— Это — Ван-Гог! — И усилил: Это — мой Винцент Ван-Гог! Гениальная трава!

Очень любивший Ван-Гога, я еще полагал себя и понимающим его искусство. Тотчас снял очки и уперся носом в зеленый квадратик. Мазки безумствовали, но двигались в одном направлении. Это была трава в эпилептическом припадке.

— Да, очевидно, Ван-Гог, — авторитетно сказал я, а старик сразу переспросил: — только очевидно?!

Почувствовав, как я смутился, он не обиделся, а тут же объяснил, что это — обрывок утраченного пейзажа "несчастливого Винцента".

И стал неостановимо говорить об этом обрывке холста — так, точно владел ни с чем не сравнимым сокровищем. Ничто словесное не запомнилось, однако запомнилась любовь восьмидесятилетнего к жизни и ее своеобразному двойнику — искусству.

А достойного снимка сделать я не сумел. Да и черно-белая пленка ничего не давала. А потом острая новизна других событий перекрыла необычайность этого. К осени все веселее стремительно отодвинулось в прошлое и даже адрес старика оказался затерянным, когда... Впрочем, что уж тянуть на-праслину. Завелось в душе еще одно непорочное сожаление — и больше ничего не случилось.

Через тридцать лет

В только что минувшем ноябре 97-го нежданно-негаданно приключилась со мною славная история. Еще бы не славная, если она внезапно перевернула девятку вверх ногами — превратила ее в шестерку — и позволила мне помолодеть на тридцать лет: хоть ненадолго я очутился в 67-м! Благодарить за это мне следовало Алексея Германа. Не как режиссера, а как пародирующего жизнь рассказчика.

Этот дар он унаследовал от неиссякаемо талантливого отца — Юрия Германа. В детстве Германа-младшего, на летних его каникулах, когда мне случалось жить в Комарово, Герман-старший говаривал: "Прошу тебя, как химика-математика, потренируй моего бездельника по арифметике, он не чужд сообразительности, вот увидишь". И, помню, однажды, — не тридцать, а почти пятьдесят лет назад! — мы решали с бездельником задачу — сколько ему нужно было бы в один присест съесть мороженого, дабы замерзнуть. И он действительно оказался не чужд сообразительности, ибо на второй минуте вдруг спросил: "Дядя Д., а какая у меня теплоемкость?" Наверное, годом позднее, когда мы с "дядей Женей" — Евгением Шварцем, — перешли вместе с Лешей в 5-й класс и должны были маяться для него над изверским повелением школы — решать арифметически-алгебраические задачки, этот милый сообразительный мальчик произносил: "пока вы тут будете решать, я прогуляюсь, ладно?" Или, пародируя взрослых, небрежно заменял глагол: "пойду прошвырнусь, не возражаете?" Не помню, чтобы "дядя Женя" возражал. И я тоже. Зато негодовал Герман-старший: "При таком всеобщем попустительстве из него вырастет черт знает что!"

Сейчас я думаю — всеобщее попустительство это демократия. И что же? Вырос демократически требовательный режиссер-трудяга. Дай Бог побольше эдакого "Черт знает что!"

И вот — в безотрадной темени ноябрьского утра веселый голос приятеля:

— Ты видел сегодня "Общую газету?" Там под рубрикой "Злоба дня" напечатался Алексей Герман. Он тебя вспоминает...

А я, к сожалению, не подписчик. И пришлось мне в то утро только на слух — по телефону — помолодеть на тридцать лет. Алексей Юрьевич рассказывал в совершенно германовском — наследственно-добросердечном и пародийно-разоблачительном — стиле, как я на его памяти изучал английский по мультику "Три поросенка", а потом, досконально его изучив, решил для пробы пера перевести на русский английский "Молитву человека среднего возраста".

Еще рассказывал он, как жил у меня в кабинете, а я возмущался, что он поздно встает и мешаю мне ни свет, ни заря вставать за трех поросят. Тут правдой было главное: ведь и он в том воспоминании помолодел на тридцать лет и весь пребывал в романе с будущей своей женой. Он возвращался домой на рассвете и ложился спать, когда я вставал.

Ему еще было далеко до человека среднего возраста, из коего я уже выходил. И теперь он честно признался, что та английская "Молитва" показалась ему тогда не более, чем забавной. ("Смешной" — не слишком точно сказал он). Зато теперь он понял, почему она так обольстила его отца, что тот даже окантовал ее и повесил над письменным столом: "Она оказалась мудрой".

Конечно, Герман-старший не мог не осознать этого сразу. Возрастное ощущение правды жизни обострялось у него тяжелой болезнью. 56-летний в начале 67-го, он уходил из среднего возраста в смерть, не успев побывать стариком. Помню, мне захотелось тогда послать ему из Москвы ту "Молитву", чтобы хоть на часок развлечь его психологической меткостью самонаблюдений неизвестного автора. И моцартовской легкостью переживания жизни!

Так не будет ли правильно, если я, подражая Германи-младшему, приведу в этой записи вослед Германи-старшему тот памятный текст, сказав только два слова о его происхождении. Впрочем, я и знаю об этом очень мало.

Не в 1967-м, а годом или двумя раньше, я летом жил в репинском доме кинематографистов. Среди отдыхающих была, как острил Сергей Юткевич, мини-старушка — такой крошечной выглядела она. Кто-то сказал ей, что я читаю по-английски, поскольку пишу книгу о Резерфорде. И она попросила меня перевести "с листа" две странички машинописного текста. Кое-как, запинаясь, я делал это, вольно импровизируя в трудных местах. Первые две-три фразы и две-три фразы в середине были уже переведены и надписаны по-русски над английскими строками. Это помогло мне, неопытному толмачу, сразу почувствовать ироническую манеру автора. А кто он — не значилось ни в начале, ни в конце. Было только указано: журнал "Мортлодж"-1962.

Мини-старушка разрешила мне переписать "Молитву". Но не могла объяснить, что это за издание — "Смертология". До сих пор я не удосужился разведать, выходило ли оно в Америке или Англии. А может быть, "Молитва" — это мистификация русского умельца, и я невольно занимался обратным переводом на язык родных осин? Так или иначе — вот этот текст, ненароком найденный Германи-младшим в архиве его отца и моего сердечного, тридцать лет назад ушедшего, друга.

Молитва человека среднего возраста

Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь.

Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать.

Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, дабы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой (согласно английскому определению — человеком, отвечающим на вопрос "хау ду ю ду?"). Пусть буду полезным, но не деспотом.

Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я и в немощи достигал цели.

Опечатай мои уста, если я захожу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них — все слаще. Я не решаюсь просить Тебя, о Господи, запретить мне с радостью выслушивать рассказы о недомоганиях других, но сделай милость — помоги мне сносить эти рассказы терпеливо.

Разумеется, очень досадно не потратить все запасы моей житейской умудренности. Но тебе же известно, Господи, что я очень хочу сохранить на остаток дней моих хоть бы немного друзей.

Не осмеливаюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие и усмири мою самоуверенность, когда моей памятью случится столкнуться с памятью других. Об одном прошу, Господи: не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок доказательством, что и я способен ошибаться!

Если я умел бываю радужным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого: иные из них в близком общении просто невыносимы. Однако и люди, вечно недовольные чем-то, — вершинные творения самого дьявола.

Научи меня открывать хорошее там, где его не ждешь, и распознавать неожиданные таланты в других людях. И дай мне, о Господи, достаточно великодушия, чтобы прямо говорить им об этом.

Амины!

● Портрет Д.Данина работы Б.Жутовского

● Алексей Герман в начале пути

● Портрет Юрия Германа работы К.Клузе